

(⁴³). Но прошло два года; Гуру уже явно никуда не годился, и хозяин снова начал бедствовать: доходы шли резко вниз, а лошадка, видимо, подвернула ногу. Ловкость тут не поможет: хоть на голову становись, а Гуру тебе уже не сыграть!

После этого перемены уже не заставили себя ждать. Кобыла о трех ногах заодно с поэтом-проповедником, Гуру-не-Гуру и Кришнамурти-который-не-смеет-открыть-свое-имя отправляются на покой. И — ура Математике!

Интересно, что будет дальше...

46. Мне пришлось на два дня отложить записки. Вернувшись к ним, я все внимательно перечел и думаю, что предложенный в них сценарий более или менее соответствует действительности. Однако кое что здесь следует уточнить. Было бы полезно сравнить достоинства обеих «лошадок» (медитации и математики) и попытаться понять, какие же конкретно события или обстоятельства вынудили хозяина «скачком» переменить ставки. Ведь преодолеть инерцию духа, стремящуюся к бесконечному (пускай и губительному) однообразию, ему заведомо было непросто.

Неплохо было бы разобраться и в том, чего хочет сам мальчишка. Сейчас уже ясно, что ему, в общем, не сидится на месте: он любит менять игры время от времени. И хозяин, кажется, наконец стал умнее: он понимает, что нужно иногда уступать, и больше не принуждает ребенка-работника без конца играть в одну и ту же игру. В последние годы он научился считаться с мальчишкой, давать ему волю, прислушиваться к нему, не дожидаясь, когда взорвутся котлы. Это не дружба, но и не война — скорее, что-то вроде полюбовного соглашения. В мастерской улучшился «климат»: если и соберутся кое-где тучи, то ветер развеет их до грозы.

Мальчишка, если его не слишком притеснять, становится податливей. (Хозяин не таков: он лишь на старости лет сделался немного мягче, да и то поневоле...) Выбирая игру, он готов уступить хозяину — но это не значит, что у него нет любимой игры. Мечтает он, как правило, о чем-то одном.

Зачастую не так уж легко отличить желания мальчишки от хозяйских пристрастий (не говоря уже о том, что хозяин и сам далеко не всегда следует зову своих пристрастий: иногда он, в силу природной инертности, просто решает раз и навсегда на чем-либо остановиться). Когда я говорил себе: медитация лучше математики, она важнее, серьез-

нее и проч. по таким-то и таким-то причинам (разумеется, самым что ни на есть убедительным), — эти рассуждения шли от хозяина. Это он задним числом всячески старался уверить себя в том, что сделал «правильный» выбор. Ведь мальчишка не станет разглагольствовать о том, что одна игра «важнее» или «лучше» другой. Если ему хочется что-то сделать (и когда никто ему не мешает), он просто идет и делает, не спрашивая себя, «важнее» ли, «лучше» ли прочих эта работа. Иногда ему хочется заняться одним, иногда — другим. Для того чтобы понять, о чем он мечтает в ту или иную минуту, незачем прислушиваться к солидной болтовне хозяина: этот пожилой господин отвечает лишь за себя. Понять, чего хочет малыш, можно, лишь наблюдая его за игрой. Но даже если он сейчас работает с удовольствием, кто поручится, что за другое дело он не принялся бы с восторгом? Быть может, не приложи тут руку хозяин, ребенок выбрал бы совсем иную игру.

Ясно, что больше всего на свете он любит *тайны*. Что может быть увлекательнее, чем, пробираясь по темным, заповедным лабиринтам неразгаданной ночи, разыскать нечто неслыханное, неизвестное, захватить с собою и вынести на свет? Всего интереснее для нас нераскрытые тайны, о которых не знает никто — и здесь, мне кажется, дело не в честности хозяина (который любит похвастаться находками), а в чисто мальчишеском азарте работника. К тому же, мальчишку, ясное дело, влекут во мрак неисчерпаемых погребов да чуланов самые незамысловатые, «очевидные» вещи, — словом, детские игрушки. Чем они ярче («очевиднее»), тем малышу веселей. А если они кажутся сложными, если их очертания не ясны, значит, он просто еще не вынес своих сокровищ из темноты чулана, задержавшись на полдороге.

В математике «очевидные» вещи — это те, на которые *непрерывно*, рано или поздно, кто-нибудь да наткнется. Другое дело — выдумки, изобретения: появятся они или нет, решает случай. А те вещи, о которых я говорю, уже есть и были всегда. Люди проходят мимо, их не замечая — иногда, как нарочно, обходя кругом. А порой, споткнувшись о такой вот дорожный камень (но по-прежнему не желая взглянуть себе под ноги), с досадой уходят прочь. И все же, через год или тысячу лет, кто-нибудь да выхватит эту диковинку взглядом из темноты. Прохожий человек остановится, обойдет находку со всех сторон, поднимет и осмотрит, очистит ее от земли и, наконец, даст ей имя. Такая работа — по мне, я люблю ее больше всего. Она равно открыта для всех: чудесные находки ждут случайных прохожих, и все, что я сделал в математике, мог бы сделать другой. Не только мог бы: рано или поздно сделал бы

обязательно ⁽⁴⁴⁾.

Но с открытием самого себя дела обстоят иначе, ибо в игре под названием «медитация» может быть только один участник. Никто другой здесь за меня ничего не сделает — ни завтра, ни через тысячу лет. В этой области лишь я могу открыть, а значит — *принять* очевидное. Тайны, заложенные во мне, могут так и остаться тайнами (в отличие от математических загадок, которые сами собою, хотим мы того или нет, раскрываются у нас на глазах). Они тоже ждут своего часа, и, когда приходит пора, я слышу их зов — но обращен он лишь ко мне одному, к ребенку во мне. Это совсем не то, что в математике, где вещи бывают неизвестными лишь до срока, и по большому счету их судьба решена. Конечно, на зов можно и не откликнуться, сказать: «завтра» или «как-нибудь». Но кроме меня никто на свете его не услышит и не пойдет на голос издалека.

Зато когда следуешь этому призыву, происходит нечто особенное. Если говорить о душе человека — мастерской, где совершается работа — то я бы сказал, что *нечто меняется внутри самого предприятия*. Перемены происходят мгновенно и сразу ощущаются как некое благо. Иногда с ними приходит чувство внезапной свободы, ни с чем не сравнимого облегчения, словно привычный груз, о котором я и сам давно позабыл, неожиданно падает с плеч. И по тому, как легко вдруг становится на душе, ты судишь о его тяжести. Что-то похожее, конечно, случается во всякой работе — открытие приносит освобождение (хотя в медитации оно ощущается намного острее), об этом я уже говорил. Но здесь есть качественное отличие, и оно именно в том, что, когда открываешь тайну в себе самом (независимо от того, какой дорогой ты приходишь к открытию), дела в мастерской начинают идти иначе. Я говорю не о «производительности труда», не о «новом ассортименте» и даже не о «качестве выпускаемой продукции». Нет, здесь речь идет о перемене *в отношениях между хозяином и работником*. Сказать ли, что характер у хозяина становится лучше? Пожалуй — если вообще можно говорить о хозяине отдельно от работника. Скажем, он становится менее придирчив — а впрочем, к кому же ему и придираться, как не к мальчишке! Он начинает заботиться о работнике, уважать его, быть может — вещи, прежде неслыханные. Медитация всегда приносила мне внутреннее *успокоение*: благодаря ей *прояснялись* (и уже тем самым смягчались) отношения между работником и хозяином. Конечно, бывали случаи, когда мой труд на поверку оказывался неглубоким, а принесенный им мир — недолговечным. Но в целом, когда я брался медитировать

«по необходимости» (чтобы разрешить тот или иной срочный вопрос), ясность и спокойствие, являясь в конце работы, уже не покидали меня.

Это придает открытию себя особый *смысл*, отличая его от прочих видов творчества, хотя в остальном все они, по существу, сходны. Предаваясь медитации, выходишь в новое измерение, и никакие другие пути туда не ведут. Быть может, это и есть *запретный плод* с Древа Познания. К нему-то, может статься, я и стремлюсь, блуждая в потемках собственной души. Я переступил порог, за которым страх исчезает. Теперь, кроме инерции духа, других препятствий на пути к познанию не осталось. Инерция может заметно затруднять движение, но она не бесконечна, и ее всегда можно преодолеть. Подчас в борьбе с нею я теряю терпение, но никогда не опускаю рук. (В математике есть та же инерция, но там она действует несравнимо слабее.) Ребенок, играя, всегда преодолевает препятствия. Инерция духа всерьез вступает в игру — я бы даже назвал ее в числе участников. Игра тонкая, воистину неравная; двое — нет, пожалуй, трое игроков состязаются в ней. По одну сторону черты — ребенок, который рвется вперед, и с ним хозяин (он олицетворяет инерцию). Хозяин сдерживает ребенка, как только может (а делает вид, будто, напротив, поощряет его порывы). По другую же сторону лишь угадываются туманные очертания прекрасной, неведомой тайны, многоцветной и многоликой. Она, кажется, подходит так близко — и тут же исчезает далеко впереди, прячется в темноте и зовет, и манит издали...

47. К медитации меня влекла довольно мощная сила — как та, что в свое время вела меня к женщине. (Страсть к медитации словно бы пришла на смену влечению пола во мне.) Я написал «влекла» не потому, что этого влечения больше нет. Весь последний год я занимался математикой, и все же тяга к самопознанию меня не оставила: она лишь отступила на время, оказавшись «за кадром». Опыт подсказывает мне, что медитация и математика могут в любой момент поменяться местами: ведь именно это (совершенно неожиданно для меня) произошло год назад, когда математика вышла на первый план. В моей жизни до сих пор было четыре долгих периода медитации (один из них продолжался почти полтора года). И всякий раз я был уверен в том, что до конца моих дней ничто не отвлечет меня от этой работы — думать о жизни, разгадывать тайны человеческого бытия. Глубоко погрузившись в медитацию, я писал, едва поспевая за мыслью. Когда же стопки испанной бумаги разрослись до угрожающих размеров, я стал подумывать

о том, чтобы обзавестись полками: в углах моего кабинета определенно не хватало места. Полки, по моим расчетам, требовалось немало: я дал себе еще пятнадцать лет жизни (конец этого срока уже не за горами!) и, быстро оценив в уме арифметическую прогрессию, обнаружил, что хранилище для моих настоящих и будущих заметок должно быть весьма вместительным. Тут, конечно, чувствуется рука «хозяина»: всему нужен учет, и хозяйство следует вести основательно! Тщательный разбор личных бумаг, более или менее непосредственно связанных с медитацией, подшивка папок, размещение их по полкам — вот последнее, что хозяин предпринял и более или менее довел до конца перед тем, как резко переменить ставки. Да верно ли, что все это он делал без задней мысли? Глядя на книжные полки, предназначенные, по его словам, будущим «Запискам», не расставлял ли он на них в своем воображении солидные тома «Размышлений о математике»?

Бесспорно, одной лишь страсти к медитации, к открытию себя, хватило бы, чтобы заполнить всю мою жизнь вплоть до последнего дня. Правда и то, что страсть к математике по-прежнему жива во мне — но этот голод, может статься, еще утихнет в ближайшие годы. В глубине души я, возможно, был бы этому рад: математика иногда видится мне помехой на пути к познанию себя — дороге, открытой лишь для меня одного. И мне кажется, что это чувство идет *не* от хозяина. Конечно, его мелкие прихоти по природе своей противоречивы: поощряя математику вслух, он может про себя брюзжать на нее. И все же я думаю, что здесь дело не в этом. Мне кажется, что эта лошадка, страсть к математике, слишком явно несет на себе клеймо хозяина. Во всяком случае, долго идти за ней значит — без конца вертеться по кругу. Пойти по пути наименьшего сопротивления, не решаясь преодолеть *инерцию* духа — легкомысленный выбор. Дороги, замыкающиеся кольцом, к обновлению не ведут.

Я все спрашиваю себя, в чем же смысл того, что страсть к математике по-прежнему так настойчиво врывается в мою жизнь. Ведь она сама по себе не в состоянии наполнить ее до конца. Принося с собою радость и удовлетворение, она не развивает души и не рождает гармонии чувств. Напротив, как это всегда бывает с чисто умственной деятельностью, математика, если заниматься ею слишком долго и напряженно, *огрубляет* чувства, так что восприятие мира теряет естественную остроту. Я замечал это в людях, и прежде всего в себе всякий раз, когда надолго уходил с головой в математику. Этой работе недостает цельности, в ней есть что-то незавершенное: от интуиции, от при-

родной восприимчивости человеческого духа в ней присутствует лишь бесконечно малая доля. А ведь интуиция — не инструмент, но живая сущность, если не обращаться к ней, она черствеет и умирает. Долгое время я этого не понимал — и в большинстве своем мои коллеги, по-видимому, тоже не отдавали себе в этом отчета. Мне кажется, только в ходе медитации можно увидеть это и почувствовать ясно. Да что там, стоит лишь взглянуть, как очевидное бросается в глаза: *математика отупляет, когда предаешься ей, не зная меры..* Два с половиной года назад, размышляя о своей страсти к математике, я признал за ней право на существование и понял, что она — и вправду желание ребенка, а не прихоть хозяина. Но и теперь, когда положение вещей прояснилось, я не спешу предаться этой страсти безоговорочно, целиком: какой-то барьер остается. Я знаю, что «предаваться ей совершенно» — значит бежать от действительности и от себя самого. Такая «жертва» немногочисленна.

Но по отношению к медитации никакого барьера, никакой настороженности во мне нет. Этой страсти я предаюсь всем сердцем, без каких-либо оговорок. Я знаю, что в такие минуты я пребываю в полном согласии с самим собой и с миром вокруг: «Я есмь Дао», верный своей природе. Отдавая все свои силы медитации, я приношу дар во благо себе самому и целому миру. Такой труд раскрывает мое сердце навстречу ближнему и мягко, любовно снимает путы с души.

Благодаря медитации я становлюсь более открытым в отношениях с людьми: она помогает снять ненужную напряженность. Но случай обсудить с кем-нибудь труд медитации как таковой, поговорить о том, что мне открылось в ходе работы, выпадает нечасто. И вовсе не потому, что о таких «личных вещах» говорить не принято. Вот пример (быть может, не самый удачный): я могу обсуждать то, что в данный момент интересует меня в математике, только с коллегой, который к тому же достаточно осведомлен в соответствующей области — и то при условии, что его научные интересы совпадают с моими. Мне доводилось годами увлеченно работать над теми или иными математическими вопросами, не встречая вокруг никого, с кем я мог бы поделиться своими мыслями (я, впрочем, и не искал таких встреч). Но если бы я нарочно постарался, то, без сомнения, нашел бы подходящего собеседника — разве что мне просто не повезло бы в силу каких-либо особых причин. Я знаю наверное: если что-то живое и настоящее пробудило мой интерес, значит, в свой срок оно позовет за собой и другого, а то и многих других математиков. Когда это будет — через десять ли, через сто лет — по сути, не так уж важно. Это придает смысл моему труду, даже когда я рабо-

таю в одиночестве. Если бы в мире, кроме меня, не было математиков, если бы они вдруг исчезли навсегда — тогда, думается мне, математика потеряла бы для меня всякий смысл. Я почти убежден в том, что, спроси я об этом любого ученого, он подтвердил бы мои слова: наука живет связью между людьми и преемственностью поколений. И не зря я несколько раньше говорил, что для меня «тайна» в математике — лишь то, что еще *никому* не известно: здесь речь идет не о том, что может знать или не знать один человек, но о всеобщей, коллективной реальности. *Математика* — *давняя общечеловеческая игра*, из тех, что люди ведут уже которое тысячелетие.

Конечно, в случае медитации вопрос о «достаточной осведомленности» собеседника отпадает. Я сам до сих пор не накопил никакого «предварительного запаса знаний» в этой области и сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Здесь важно одно: чтобы моему собеседнику, как и мне, было интересно об этом поразмыслить. То есть речь идет о том, любопытно ли человеку понять, что же на деле скрывается в душе (его ли, или его ближнего) за ширмой общепринятых приличий — едва ли у многих загорятся глаза при мысли о подобных сокровищах. Я уже успел убедиться в том, что «минуты откровения» в жизни человека, когда он видит воочию эти тайны за ширмой и хочет их разгадать, как правило, редки и мимолетны. Многие, что называется, «интересуются психологией»: то есть прочли Фрейда, Юнга и массу всего прочего — с тех пор их хлебом не корми, дай только поддержать «интересную дискуссию». Они как раз накопили определенный запас знаний — кто больше, кто меньше. Это то, что принято называть «культурой». Из таких кирпичиков они составляют представление о самих себе, с успехом заслоняющую от них действительность — картину, на которую они остерегаются бросить взгляд, точь-в-точь как те, кто интересуется математикой, летающими тарелками или рыбной ловлей. Это не та «осведомленность», не тот «интерес», о которых я говорил: одни и те же слова обозначают здесь вещи различной природы.

Иначе говоря, *в такую игру, как медитация, играют поодиночке*. Прежде всего нужно остаться наедине с собой: в этом суть медитации, ее природа. И дело не только в том, что самый *труд* медитации происходит в уединении: я думаю, то же верно для всякого творчества, в том числе и для совместной работы (даже если людей объединяет общая цель, все равно каждый трудится сам по себе). Но *знание*, которое приносит медитация — столь же «уединенное», как и труд, ведущий к нему. Это знание не может стать *общим*, и тем более его нельзя никому «пе-

редать»: его, как чувство, удастся разделить с кем-нибудь лишь в самые редкие минуты. Этот труд, это знание восстают против общепринятых представлений, особенно глубоко укоренившихся в нас, вызывая тревогу у всех и каждого. Это знание, безусловно, можно изложить простыми и ясными словами. Подбирая их, я не перестаю учиться и узнавать: ведь это часть работы, и более чем увлекательная. Но те же самые слова, наткнувшись на стену безразличия или страха, ничего не скажут другому. Даже язык мечты, яркий, пестрящий бесконечными образами, беспрестанно обновляемый неутомимым, веселым Мечтателем, не разрушит этой стены.

Без уединения нет медитации. Если ты делаешь что-либо в расчете на одобрение, поддержку, поощрение с чьей бы то ни было стороны, если в голове промелькнула хотя бы единая мысль о подобном «вознаграждении» — это все что угодно, только не открытие себя, не труд медитации. То же справедливо для всякого творчества — тут не поспоришь. Но когда работа завершена, одобрение близкого или коллеги, или всей твоей профессиональной среды, для тебя важно: оно оправдывает усилия и придает смысл твоему труду. Это — один из мощнейших стимулов, побуждающих «хозяина» (если вернуться к этой системе образов) без разговоров отпустить мальчишку заниматься тем, что доставляет ему сердечную радость. Такая «награда» в основном и определяет выбор хозяина. Так это и было со мной в математике: доброжелательный прием, теплая поддержка со стороны Картана, Шварца, Дьедонне, Годемана и, позднее, других математиков укрепляли мою решимость трудиться на этом поприще. В области медитации, напротив, подобных стимулов просто не существует. Медитация — страсть мальчишки; хозяин, по сути, терпит ее из милости. Ведь *она не приносит выгоды*. Она дает совсем не то, о чем мечтает хозяин. Его надежды на медитацию — не более чем самообман: по зрелом размышлении он и сам не стал бы на нее ставить. Хозяин любит общество, он стадное животное.

И только ребенок одинок по своей природе.

48. Вчера, говоря о том, что медитация — это игра для одиночек, я вдруг подумал об этих самых записках, которые пишу уже почти шесть недель. Понемногу они превратились в медитацию, то есть в «уединенное знание» — а с другой стороны, я ведь собираюсь их опубликовать. И это во многом повлияло на ход работы: например, я стал заботиться о краткости и точности изложения. Кроме того, размышляя о прошлом, я слишком редко оглядываюсь на себя «в настоящем»; но ведь постоянное

(и отнюдь не поверхностное) внимание к тому, что происходит в твоей душе в момент работы — неотъемлемая часть труда медитации. Эти недостатки, без сомнения, должны были сказаться на том, как складывается мое представление о действительности, на «качестве» моего труда. И все же я чувствую, что это настоящая медитация: то, что дает мне эта работа, вполне однозначно свидетельствует о ее природе. Ко мне приходит некое знание о себе самом (прежде всего, знание *из прошлого*), которого я до сих пор избегал. Размышление протекает свободно, естественно: совершенно неожиданно для себя я написал почти пятьдесят «разделов», или «параграфов», причем всякий раз, начиная новый, я не мог предугадать, чем он завершится. Я никогда заранее не обдумывал содержания очередного раздела: оно открывалось мне лишь по мере того, как на бумаге возникали новые строчки. Я ничего не «изобретал»: я просто шел своей дорогой, и на каждом повороте меня ждали находки — факты, которых я раньше не замечал, или уже известные вещи, вдруг представавшие в новом, неожиданном свете.

Итак, мой труд — не что иное, как диалог с самим собой, то есть медитация. Однако тот факт, что он с самого начала предназначен к публикации, более того — задуман как вступление к моим «Размышлениям о математике», никак нельзя сбросить с весов. Расчет предать записки гласности — не пустая формальность, в ходе работы он явственно говорит о себе. Благодаря ему самый труд в моих глазах приобретает особый смысл. Еще вчера я заметил, что хозяин, без сомнения, находит в этом определенную выгоду (ведь он — известный мастер искать выгоды в чем бы то ни было!) — но смысл «медитации для печати» отнюдь не сводится к тому, чтобы потрафить хозяину. Да и много ли ему радости от «награды», с которой Бог весть когда еще приковыляет к нему пресловутая кобылка о трех ногах! Он, быть может, до этого еще и не доживет. Вообще, смысл действия далеко не всегда исчерпывается причинами (как скрытыми, так и явными), побудившими тебя решиться на этот шаг. Оторвавшись от крыльца, дорога иной раз уходит дальше и глубже, чем ты думал, глядя на карту. Я чувствую это снова и снова. И в моем «возвращении в математику» мне также видится некий особый смысл — не тот, что я вкладывал в него поначалу. В душе человека соперничают разные силы; все вместе, они как будто побуждают его совершать те или иные поступки. Но даже по всем правилам вычислив равнодействующую всех этих сил, невозможно полностью описать результат.

Итак, вступление к «Размышлениям...», с которыми я возвращаюсь в

математику, понемногу перешло в медитацию, и в этом, в большой степени, отражен самый смысл моего возвращения. Эти страницы я хочу предложить тем, кого я знал и любил в математическом мире — но я не льщу себя надеждой на то, что этот дар не пропадет понапрасну. Будет ли он принят, зависит не от меня, а от того, кому он предложен. Разумеется, судьба моего дара мне далеко не безразлична. Но ответственность за нее лежит не на *мне*. Я отвечаю лишь за то, насколько я сам верен своему дару, а значит, от меня требуется лишь одно — быть самим собой.

В ходе этой медитации я узнал лишь простые и очевидные вещи, с виду — сущие пустяки. Их не сыщешь ни в одной, хоть бы и самой гениальной, ученой книге, ни в одном глубокомысленнейшем трактате. Только я сам, своими силами, мог их найти — я, и никто другой. Я бросал вопросы в «туман» своих воспоминаний и ловил ответы, стараясь ничего не упустить. Я понял, что такое «спортивный подход» в науке и как он отражался на моих отношениях с математикой и с людьми вокруг. Истина, как всегда, оказалась скромной и очевидной. Я мог бы прочесть «в подлиннике» Священное Писание, Коран, Упанишады; сверх того, Платона, Ницше, Фрейда и Юнга, я стал бы проявлять чудеса глубочайшей, всеохватывающей эрудиции — но все это лишь *отдаляло* бы меня от этой истины, незамысловатой и очевидной, как слова ребенка. И я мог бы сотню раз повторить слова Иисуса Христа: «Будьте, как дети, иначе не войти вам в Царство Небесное,» — истолковывая их с особым изяществом, но и это только отдалило бы меня от ребенка во мне самом, от тех скромных, тревожащих меня истин, которые видны лишь ему. *Они-то и есть* мой дар — лучшее из того, что я могу предложить.

И я знаю, что произнести эти слова, простые и ясные, недостаточно для того, чтобы мой дар был принят. Принять — не значит просто выслушать, смущенно или даже с интересом, дескать: «В самом деле? Кто бы мог подумать!..» — или: «Ну да... это, в конце концов, не так уж и удивительно...» Иногда принять дар — значит узнать себя в том, кто держит его на раскрытой ладони. Встретив в глазах другого свое отражение, всякий ли решится протянуть ему руку?

49. Это короткое размышление о смысле моей работы, о дарах и о том, как их принимают, увело меня в сторону от выбранной темы. А впрочем, оно здесь уместно как иллюстрация к моим рассуждениям о том, чем «медитация» отличается от всех остальных видов творчества, и в частности, от математического труда. Как я недавно понял, это от-

личие — палка о двух концах: оно вызывает в моей душе два *противоположных стремления*. «Мальчишку» медитация увлекает, как никакая другая игра, зато для «хозяина» она теряет какой бы то ни было интерес. И похоже, что на сей раз внутреннее противоречие заложено в природе вещей: ни договорами, ни уступками с обеих сторон нельзя устранить его совершенно. И впрямь, делать нечего: когда мальчишка, наконец, приступает к своей любимой игре, хозяин не получает от этого никакой выгоды, поверите ли, решительно никакой!

Этим-то, без сомнения, и объясняется столь резкий переход от медитации к математике в моей жизни. Вполне могло бы случиться так, что дорога к медитации для меня впредь была бы закрыта (разве что какой-нибудь конкретный вопрос потребовал бы срочного разрешения, как это было три месяца назад). Не думаю, что моя жизнь тогда потеряла бы смысл: ведь прошедший год, проведенный в математических занятиях, явно не был бесплодным. И все же, за этот год (вне области математики) я не узнал почти ничего: четыре года медитации перед тем дали мне несравненно больше. Вообще, каждый из долгих периодов медитации (их было четыре) неизменно приносил мне ощущение полноты жизни — как ни странно, я совершенно не чувствовал, что мне чего-либо не хватает, не замечал недовольства «хозяина» и нетерпения «безработной» математической страсти. Однако, раз уж котлы взорвались, значит, давление превысило меру, и излишек паров не один день томился внутри. Вероятно, он копился втайне, неделями и месяцами; я же был слишком погружен в медитацию и потому не успел почуять неладное.

Впрочем, здесь я, пожалуй, увлекся, не уследив за бегом пера (вернее, пишущей машинки). В действительности, напряженность медитации, едва достигнув некоторого пика, всегда начинала спадать (если не считать последнего периода, когда медитация оборвалась на полном ходу по вине стечения событий и обстоятельств) — как будто и впрямь волна, отлив, ждущий прилива... И ощущение полноты, о котором я говорил, также блекло и уходило вместе с волной, чтобы затем вновь охватить меня, поднявшись на гребне волны-медитации (и никогда — математики).

Что же до ситуации, в которой я пытаюсь здесь разобраться — мне кажется, настоящего конфликта в ней больше нет. Но есть, как выяснилось, некое неустранимое противоречие, из которого, вообще говоря, конфликт может развиться. И этот зародыш — на мой взгляд, наиболее явный (если судить по тому, как неизбежность его присутствия отра-

жается на моей жизни) признак *раскола* в моей душе. Раскол же этот — не что иное, как вечная двойственность хозяин-ребенок.

Разрешить ее, положить ей конец — не в моих силах. Теперь, когда я угадал ее в одном из ее проявлений, мне остается лишь внимательно, осторожно следить за ее развитием, во всю оставшуюся жизнь не спуская с нее глаз. Быть может, моя любовь к математике (ей и так со мной не слишком повезло, надо признать) когда-нибудь исчезнет в своем собственном пламени: так, догорев, меня уже покинула одна страсть... И тогда страсть к открытию тайн моей души и моего предназначения в жизни, не встречая более помех на своем пути, охватит меня целиком.

Ведь, как я уже говорил однажды, ей одной ничего не стоит заполнить всю мою жизнь. Но целой жизни не хватит, чтобы исчерпать ее до конца!

50. Вот уже несколько дней, как я практически закончил работу над «РС», внимательно перечитал записки, нанес последние штрихи. Целый месяц я каждое утро просыпался с мыслью о том, что книга вот-вот завершится, что еще день-два, и можно будет вздохнуть с облегчением. Зато теперь, когда пора и в самом деле пришла, меня терзают сомнения — довел ли я свой труд до конца? Ведь, по правде говоря, на один вопрос я так и не нашел ответа. Я хотел понять, какие конкретно события или обстоятельства заставили хозяина так резко переменить ставки: предпочесть математику медитации, не побоявшись пойти наперекор довольно значительным силам внутренней инерции. В последнее время мои мысли сами собою настойчиво возвращаются к этому вопросу, несмотря на то, что в эти дни я уже как будто переключился на размышления иного порядка (например, о конформной геометрии). Пока волна медитации еще не унеслась от меня, подбросим ей последние обрывки сомнений, чтобы уж вычистить все до конца.

Когда я пытаюсь «наугад» представить себе, что за события могли натолкнуть меня на мысль о том, чтобы снова взяться за математику (всерьез, в расчете провести за работой по крайней мере несколько лет), мне приходят в голову несколько возможных ответов. Первый из них, и наиболее убедительный — хроническая неудовлетворенность, не оставляющая меня вот уже шесть или семь лет в моей работе с учениками. С этим же у меня связано ощущение *неполной занятости*, которое с годами становилось все острее. Иногда мне казалось, что я понапрасну стараюсь передать лучшее, что во мне есть, моим угрюмым ученикам: то, что им предложено, они берут безо всякого интереса (и никогда не

просят добавки).

Повсюду, куда ни посмотри, я видел великолепные задачи, которые, кажется, сами просились в руки. Иногда для того, чтобы к ним подступиться, хватило бы смехотворно малого запаса знаний: они сами готовы были подсказать тебе и слова языка, на котором нужно о них говорить, и названия инструментов, чтобы их обрабатывать. Не видеть всего этого было бы невозможно просто потому, что, преподавая в университете, я сохранял какую-то связь с миром математики (пусть и на самом скромном уровне), даже в те времена, когда меня это менее всего занимало. Красивые вещи в математике всегда прячутся друг за другом: поднимешь с земли одну — откроется другая, а под ней, в глубине, целая россыпь сокровищ... Да и не в одной математике: куда бы ты ни взглянул с настоящим, живым любопытством, тебе откроются недра, полные тайн, и ты почувствуешь, что их богатства неисчерпаемы. Но мне не удавалось передать это чувство ученикам — потому-то я и оставался неудовлетворенным своей работой. Я не мог зажечь в них ни малейшей искры *желания* взять в руки хотя бы то, что лежало прямо перед глазами. А ведь они так или иначе решили провести месяцы, а то и годы (столько, сколько понадобится, чтобы подготовить необходимый диплом) в «научной работе» — так почему же не предаться ей от души, с увлечением? Между тем, если не считать двоих-троих, никому из моих учеников за последние десять лет это и в голову не приходило. Месяцами, даже годами, они топтались на месте, опустив руки, или мучительно пробивались вперед, как крот в твердой земле, прямой дорогой диплому, не понимая толком, что они видят перед собой и никогда не оглядываясь по сторонам. Все это симптомы творческого паралича, сказать о котором вообще можно немало. Эта болезнь не имеет ничего общего с «одаренностью», «способностями» или отсутствием таковых. Это — психологический барьер, и я уже однажды говорил о его причинах. Тогда, в начале вводной главы, я коснулся этой темы лишь мимоходом; здесь есть о чем подумать, но сейчас передо мной стоит иная задача. Итак, отвечая на свой вопрос, я должен констатировать у себя состояние хронической неудовлетворенности, вызванное тем, что за последние семь лет в моей работе с учениками одна и та же история повторялась снова и снова, и выхода из этой ситуации я не видел.

Выход, однако, был, и достаточно очевидный — если не для преподавателя, то по крайней мере для математика. Отчаявшись увлечь своих учеников математическими тайнами, я мог выполнить своими руками хотя бы часть той работы, которую они не желали довести до конца.

Время от времени я так и делал: урывками, по несколько часов или даже дней, обдумывал разные вещи, пришедшие мне в голову в ходе работы с учениками. А порой у меня наступали периоды настоящего математического голода (приходившие внезапно, мощными волнами, как будто что-то и впрямь во мне взрывалось...): тогда я неделями, а бывало, и месяцами, размышлял только о математике. Но занимаясь математикой негулярно, от случая к случаю, я мог лишь в общих чертах описать ту или иную проблему, и мое представление о ней оставалось весьма неполным. Точнее, я ясно видел, что нужно сделать, но самый труд был еще впереди. Чтобы лучше разобраться в ситуации, необходимо было взяться за работу всерьез. Два месяца назад я написал краткий обзор основных тем, понемногу захватывавших мое воображение. Получился «Набросок Программы», о котором я уже как-то упоминал. Наряду с этими записками он составит первый том «Размышлений о математике».

Достаточно ясно, что эти короткие разведки математической местности (которые я проводил, что называется, «в частном порядке») сами по себе моей застарелой неудовлетворенности разрешить не могли. Ощущение «неполной занятости», несомненно, шло от *желания действовать* (вероятно, честолюбивого: чувствуется почерк «хозяина»). Во мне говорил уже не столько преподаватель (который стремился бы «расшевелить» учеников, что-то им передать или хотя бы помочь им заполучить те или иные дипломы, открывающие дорогу к разнообразным должностям в научном мире и проч.), сколько «математик», желающий сказать свое слово в науке, удивить мир неожиданными открытиями, дать развитие такой-то теории и прочее в том же духе. И здесь я снова возвращаюсь к выводу, не так давно мною сформулированному на этих самых страницах: математика, по природе своей — общая, совместная игра. Конечно, все последние десять лет мне и в голову не приходило, что я когда-либо снова соберусь публиковать свои математические находки. В то же время было более или менее ясно, что никто из моих учеников (и будущих, и настоящих) не доведет до конца того, что я наметил в своих «разведках». И все же я не могу сказать, что занимался математикой в те годы для собственного удовольствия, в силу каких-либо причин сугубо личного толка. Мне кажется, где-то в глубине души я всегда чувствовал, что математикой занимаются для того, чтобы передать знания другим: как будто некая башня на твоих глазах строится сообща, и ты приносишь свой камень. Эта «башня» и есть математика, а вернее — наше знание о математическом мироустройстве. Когда я говорю «наше», я думаю прежде всего о математиках, которых я знал и с

которыми меня связывали общие интересы. И в то же время образ математической «башни» вбирает в себя нечто несравненно большее, чем все достижения математиков, которых я когда-либо видел и знал: так отдельные камни легко теряются в общей громаде, и часть сливается с целым. Итак, слово «наше» уже приобретает всеобщий, космический смысл: теперь оно относится ко всему *роду человеческому*, к моим собратьям из всех стран и эпох, которых мир математики однажды полюбил своей красотой. Написав последние строки, я впервые подумал об этом. До сих пор я всегда смотрел на свою работу, как на часть некоего «целого» — и, однако же, не отдавал себе в этом отчета. И уж во всяком случае я никогда не задумывался о том, как это предчувствие «целого» в том, что я делал, отразилось на моей жизни как математика и преподавателя.

Что же до желания действовать, о котором я говорил, то это для меня значило: извлечь из мрака нечто, *никому* (и не только мне) *не известное*, вывести на свет и показать миру — с тем, чтобы моя находка перешла во *всеобщее распоряжение*, обогатила сокровищницу. Это голос, зовущий меня приложить руку к строительству «башни», прибавить славы и блеска нашей сокровищнице; «целое» превосходит частности, в том числе и мое честолюбие.

Не то, чтобы в этом голосе совсем не звучали честолюбивые нотки. Напротив, здесь с новой силой вступает в игру моя страсть добиваться признания со стороны, всячески утверждая и превознося свою значимость, — словом, известные штуки «хозяина» во мне. Его тщеславие порой становится весьма утомительным, и даже разрушительным в определенных пределах (^{44'}). И все же у меня нет сомнений в том, что стремление накопить как можно больше вещей, которые (долго ли, коротко ли) носили бы мое имя, не способно заглушить или «перекрыть» собою куда более мощную силу, влекущую меня к строительству общей башни. А ведь сознание того, что его трудами растет высокое здание — лучшая награда иному работнику. Признание, поощрение других мастеров ему, быть может, не так уж нужно. В моей собственной «мастерской» хозяин, предпочитающий более солидные вознаграждения, пожалуй, слишком назойлив (уж он-то не забудет поставить подписи под работой!), но ведь это, в сущности, вопрос зрелости. А может быть, анонимный труд был бы для меня «высшей» формой самовозвеличения, которого я достиг бы, отождествив себя с тем, что неизмеримо превосходит мое «я» по своей космической значимости. Может быть — разве что природа этой силы на деле тоньше и глубже, разве только она выражает истин-

ную потребность духа, не зависящую от внешних условий. Не это ли связывает каждого из нас со всем человеческим родом и придает смысл жизни каждого отдельного существа? Я не знаю ответа на этот вопрос; искать его сейчас — значит далеко отступать от темы.

Ведь моя цель — в том, чтобы исследовать ситуацию более скромного масштаба, касающуюся меня лично. Итак, преподавательская работа неизменно приносила мне чувство неудовлетворенности. Иногда мне удавалось ненадолго прогнать его (да и то, лишь отчасти), поразмыслив наедине с собою над тем или иным математическим вопросом, от которого отказались ученики. Логика событий рано или поздно должна была навести меня на мысль о том, чтобы *передать* кому-нибудь свои находки. Для того чтобы «разработать» обнаруженные мною рудники, необходимо было всерьез взяться за труд; я же все это время, вплоть до прошлого года, не допускал и мысли о том, чтобы снова на долгий срок предаться математической страсти. Оставался единственный выход: рассказать о тех находках, судьбу которых я принимал особенно близко к сердцу, друзьям-математикам, «понимающим толк» в соответствующей области.

Думаю, что если бы в последние десять лет мне удалось найти среди моих друзей-математиков человека, который, во-первых, стал бы моим постоянным *собеседником* и источником информации (каким, в значительной мере, был для меня Серр в 50-е и 60-е годы), и в то же время согласился бы *передавать дальше* ту «информацию», которую он мог бы получать от меня (этого делать Серру никогда не приходилось: в те годы я исправно писал и публиковал работы — то есть сам себе служил «передатчиком»), — что, случись все это так, неудачи в работе с учениками тревожили бы меня намного меньше. Моя неудовлетворенность исчезла бы в миг, и я спокойно предался бы своей новой страсти, по-прежнему возвращаясь к математике лишь изредка и ненадолго. Время от времени я и в самом деле предпринимал попытки отыскать себе такого друга и собеседника. В первый раз (быть может, еще не осознавая своей потребности) я обратился с этой целью к одному из прежних коллег в 1975г., и в последний — в 1982г., то есть полтора года назад. По забавному совпадению, в обоих случаях я пытался «пристроить» одну и ту же «программу» по гомологической и гомотопической алгебре (я хотел передать ее в «надежные руки», чтобы она не пропала в неизвестности и, быть может, после — кто знает? — в один прекрасный день была доведена до конца). Эта программа зародилась в пятидесятые годы, и к концу шестидесятых у меня сложилось внутреннее убеждение в том,

что она совершенно «созрела». В ней давалось предварительное, в общих чертах, развитие той самой темы, которой посвящена работа под названием «В погоне за стэками». Иными словами, это и есть тема настоящей книги, «Введение» к которой я пишу сейчас, вот на этих самых страницах! Как бы то ни было, мои попытки вновь обрести в математическом мире такого неопенимого собеседника (каким был для меня, до 1970г., Серр, и позднее — Делинь) по разным причинам провалились все до одной. У каждой из них была своя история, но по сути, я всякий раз хоть и искал общения с «действующими» математиками, но сам не желал уделять математике как таковой достаточно сил и времени. И уж по крайней мере, в 1975 и позднее, в 1982г., мой внутренний настрой, безусловно, не способствовал тому, чтобы беседа пошла на лад. В самом деле, я тогда стремился лишь «пристроить» некую вещь — и ничего сверх того. Стоя в стороне от событий математического мира, я многое упустил за все эти годы, но наверстать упущенное отнюдь не стремился. Для «действующего» математика, разбирающегося в современных методах гомотопической алгебры несравненно лучше меня, я был плохим собеседником.

«Письмо к...», ставшее первой главой книги «В погоне за стэками» (я написал его в феврале прошлого года, то есть немногим больше года назад), я мог бы счесть своей последней попыткой добиться от кого-нибудь из прежних друзей отклика на мои позднейшие идеи и мысли о математике. Так вышло, что письмо само собой перешло в записки — и возник мой первый за все это время (считая с 1970 года) математический текст, предназначенный к публикации. На «Письмо...», на мой взгляд, с математической точки зрения весьма содержательное, я получил что-то вроде ответа лишь год спустя (ср. примечание ⁽³⁸⁾). И этот ответ оказался, в известном смысле, куда убедительнее, чем все прочие письма, какие я получал до тех пор от коллег-математиков. По нему одному я мог судить ясно и недвусмысленно о том, какие чувства по отношению к моей скромной персоне сделались нормой в кругу моих прежних друзей-математиков с тех пор, как я покинул математический мир. Я писал к этому человеку, обращаясь к нему, как к давнему другу, искренно, с сердечной теплотой. В ответном письме нарочито явственно прозвучала насмешка. Когда я прочел его, переживания недавних лет нахлынули на меня с новой силой. Тогда, раньше, я не раз замечал, что мои старые знакомые, и прежде всего друзья из «большого мира» математики, все чаще и чаще как бы отодвигались от меня, начинали относиться ко мне прохладнее. Но здесь речь идет уже не столько о личной дружбе, сколько

об отношениях на «профессиональном» уровне, между коллегами. Среди более или менее «понимающих толк» математиков возникло и словно бы вошло в моду некое соглашение — и стало законом, как нечто само собой разумеющееся. Разумные люди сошлись на том, что математику в «блоках» по тысяче страниц каждый, да и все те понятия, которыми я забивал им голову в течение одного-двух десятилетий^(46,47), в конце концов, не стоит принимать всерьез: эти, в сущности, пустяки и так в свое время наделали чересчур много шума. Довольно одних нагромождений «абстрактной чепухи» вокруг понятий схемы и этальных когомологий (которые все же иногда оказываются как нельзя кстати — увы, приходится признать); обо всем остальном, по крайней мере, можно позабыть с легким сердцем. Те же, кто, вопреки здравому смыслу, не говоря уже о правилах хорошего тона, все еще трубят в гротендиковские трубы, подбирая их где-то на свалке, заслуживают участи своего учителя (даже если они формально не числятся у него в учениках). И поделом...

Конечно, новые и новые свидетельства тому, что соглашение (которое я только что описал «открытым текстом», без обиняков) работает безотказно, отнюдь не оставляли меня равнодушным. Начиная с 1976 года⁽⁵⁰⁾, они все чаще и чаще долетали ко мне с разных сторон, и вот уже два-три года как идут ко мне отовсюду непрерывным потоком. В конце концов во мне проснулась бойцовская жилка, приутихшая и задремавшая было за последние десять лет. Мне захотелось броситься в рукопашную, приструнить этих молокососов, ни капли не смыслящих в чем бы то ни было, — словом, невеселые вести пробудили во мне самый что ни на есть дурацкий рефлекс быка, взбешенного видом красной тряпки. Казалось бы, иди спокойно своей дорогой — ан нет, он уж роет копытом землю, мотает головой и готов вот-вот броситься на «врага». Хотя мне все же думается, что этот «боевой инстинкт» — вещь неглубокая, и ради него одного я не сошел бы с дороги, не оставил бы медитации. К тому же (и к счастью), занятие математикой само по себе достаточно увлекательно, и оно явно не сводится к тому, чтобы с заостренной палкой в боку, позабыв обо всем, гоняться за красной тряпкой. Конечно, все зависит от подхода к работе: в том, как я занимаюсь математикой, пожалуй, есть что-то от борьбы с ветряными мельницами. Идти наперекор общему представлению о математике, отказавшись от формального стиля работы, увлекаться лишь «несерьезными» вещами (в глазах коллег) — в этом есть и вызов, и самоутверждение перед лицом насмешки. Безусловно, в известном смысле я сам виноват в том, как меня и мои идеи сегодня встречают в математическом мире. В свое время мои друзья,

вероятно, чувствовали во мне некое пренебрежение, обращенное если не к ним самим, то по крайней мере к математической среде в целом — а ведь они по-прежнему считали ее своей и принимали ее устои без оговорок. И та насмешка, которую я сегодня читаю на лицах и в письмах, родилась в ответ на мои собственные слова, на мое поведение в тот год, когда я уходил из мира математиков. И так, уголок красной тряпки все же маячит впереди, и приходится признать, что я сбился с дороги. На моем пути у самого горизонта меня ждут совсем иные проводники.

В последние недели я не раз задумывался о том, что же уводит меня с дороги (вероятно, эта же забота и сегодня задала ритм моему размышлению). Попутно я понял, что мною в этом руководит еще одно стремление, в котором нет ни капли пресловутого «боевого инстинкта», хотя амбиций иного толка, пожалуй, немало. Мне хотелось бы придать настоящий смысл своему труду последних десяти-двенадцати лет в математике: внутреннее убеждение говорит мне, что такая работа — нечто большее, чем простое развлечение на досуге. Природа этого желания пока что мне не ясна, я еще ни разу не задумывался над этим всерьез. Но одно несомненно: как показало это раздумье, сила, в свое время «качнувшая весы» в сторону математики, кроется именно здесь. Тореадоры с красными тряпками ей не указ: она действует сама по себе. Быть может, ее присутствие — признак того, что я не сумел вырваться из заколдованного круга, стать в стороне от своего прошлого? Но тогда речь идет о недавнем прошлом, а не о том далеком, «до 1970»: ведь эта сила пришла ко мне из десяти только что прожитых лет. Прошлое завершенных, написанных по всем правилам, напечатанных черным по белому работ меня не тревожит и не зовет.

По сути, мне безразлична судьба готовых вещей: что ждет их в будущем, сохранят ли их «потомки» (есть ли будущее у наших потомков — тоже вопрос...). Меня интересует не то, что я сделал, а то, чего я *не* сделал, не довел до конца. Тогда, в прошлом, перед моим мысленным взором развернулась огромная картина будущего труда. Из той обширной программы мне удалось выполнить, как своими усилиями, так и с помощью друзей и учеников, лишь ничтожно малую часть. Позднее, неожиданно для меня самого, эта программа пережила обновление, и вместе с ней изменилось мое собственное представление о математике, мой подход к математическому труду. Прежде я, как правило, брался за серьезные задачи по заложению основ в той или иной области математики — труд кропотливый и тщательный. Нынче же темы, о которых я говорил, выходят на первый план. Пришла пора исследовать *тайны*, влекущие меня

за собой с особенной силой: например, загадки «мотивов» или проблемы «геометрического» описания группы Галуа $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$. Само собою, попутно мне так или иначе предстоит заложить кое-где основы будущих зданий — по крайней мере, набросать план в общих чертах. «Долгий поход сквозь теорию Галуа», как и книга, которую я пишу сейчас, «В погоне за стэками», уже содержит такие наброски. И все же, это работа совсем иного толка: цель не та, и самый стиль изложения изменился.

Иначе говоря, в эти последние годы, лишь изредка оборачиваясь в сторону математических ручьев и долин, я видел сквозь туман тайные, призрачные очертания неведомых зданий и предчувствовал их несказанную красоту. Я знал, что эта красота — не для меня одного, что я должен о ней рассказать. Самый смысл ее — в том, чтобы ее увидели люди, чтобы знание о ней усваивалось, передавалось из уст в уста... Но рассказать о ней словами, хотя бы себе самому — значит развить сюжет, придать картине глубину перспективы; это *труд*. Конечно же, я знаю, что мне одному и за сотню лет не завершить этой работы. Но подобает ли нам беречь и высчитывать годы — те, что нам осталось прожить, открывая мир? Месяцы ли, годы ли заберет у меня математика — моя ли это забота? *Другая* работа тем временем будет ждать моих рук — труд, на сей раз предназначенный лишь мне одному. Жизнь моя сама выберет себе русло, и я не волен, да и не в силах, стать на пути у текущих лет.